# ВОЙНА, ПОЛИТИКА, ПАМЯТЬ

## наполеоновские войны и первая мировая война в пространстве юбилеев

УДК 94(100):355.16
ББК 63.3(0)
В65

*Издание подготовлено при поддержке*
*Российского научного фонда (РНФ), проект № 18-18-00053*
*«Политика памяти vs историческая память:*
*Наполеоновские войны и Первая мировая война в юбилеях»*

*Рецензенты:*
доктор исторических наук А. И. Миллер
доктор исторических наук А. В. Чудинов

*Авторский коллектив:*
Баранов Николай Николаевич, доктор исторических наук, доцент
(гл. 1, п. 1.1; гл. 2, п. 2.2.3, 2.2.4; гл. 4, п. 4.2, 4.3; гл. 5, п. 5.3)
Галкина Юлия Михайловна, кандидат исторических наук
(гл. 2, п. 2.2.2; гл. 4, п. 4.4; гл. 5, п. 5.2)
Голотина Алена Игоревна (гл. 2, п. 2.1.4; гл. 3, п. 3.4)
Земцов Владимир Николаевич, доктор исторических наук, профессор
(гл. 2, п. 2.1; гл. 3, п. 3.1, 3.2, 3.3)
Пахалюк Константин Александрович,
кандидат политических наук (гл. 5, п. 5.4)
Поршнева Ольга Сергеевна, доктор исторических наук, профессор
(гл. 1, п. 1.2; гл. 2, п. 2.2.1, 2.2.3; гл. 4, п. 4.1; гл. 5, п. 5.1)
Постникова Алена Александровна, кандидат исторических наук,
доцент (гл. 1, п. 1.3; гл. 2, п. 2.1.1; гл. 3, п. 3.1)

В65 **Война, политика, память: Наполеоновские войны и Первая мировая война в пространстве юбилеев** / [под ред. О. С. Поршневой (отв. ред.), Н. Н. Баранова, В. Н. Земцова]. – М. : Политическая энциклопедия, 2020. – 551 с. : ил.

ISBN 978-5-8243-2417-4

В монографии на обширном историческом материале проанализированы проблемы формирования и эволюции исторической памяти о событиях эпохи Наполеоновских войн и Первой мировой войны народов стран – их главных участников (России, Франции, Германии и Великобритании), роль политики памяти и ее особой формы – юбилеев – в конструировании представлений о военном прошлом, образов войны, исторических мифов о войне. В исследовании рассмотрены особенности и варианты переформатирования памяти о военных событиях, выявлены формы и специфика взаимодействия / конфликтов власти и общественности (в том числе исторической) в период юбилеев войн, а также цели, формы и результаты проведения юбилеев.

Монография написана на основе значительного массива опубликованных и неопубликованных, впервые вводимых в научный оборот, источников, в том числе материалов из 16 архивов.

Книга предназначена для историков-профессионалов, специалистов в сфере гуманитарных и социальных наук, а также всех, интересующихся всеобщей и отечественной историей.

УДК 94(100):355.16
ББК 63.3(0)

ISBN 978-5-8243-2417-4

© Коллектив авторов, 2020
© Политическая энциклопедия, 2020

# СОДЕРЖАНИЕ

*Введение* . . . . . 3

*Глава 1. Юбилеи Наполеоновских войн и Первой мировой войны: методологические основания исследования* . . . . . 6
1.1. Юбилеи войн в контексте памяти и политики: теоретико-методологический аспект . . . . . 6
1.2. Политика памяти: к преодолению методологической дихотомии . . . . . 14
1.3. Военные юбилеи между памятью и забвением, триумфом и травмой . . . . . 20

*Глава 2. Политика памяти и историческая память в пространстве юбилеев: историография проблемы* . . . . . 29
2.1. Эпоха Наполеоновских войн . . . . . 29
2.1.1. Французская историография . . . . . 30
2.1.2. Российская историография . . . . . 37
2.1.3. Британская историография . . . . . 43
2.1.4. Немецкая историография . . . . . 49
2.2. Первая мировая война . . . . . 56
2.2.1. Российская историография . . . . . 58
2.2.2. Французская историография . . . . . 70
2.2.3. Британская историография . . . . . 84
2.2.4. Немецкая историография . . . . . 99

*Глава 3. Юбилеи Наполеоновских войн: память и политика* . . . . . 112
3.1. Франция: память о войнах Наполеона . . . . . 112
3.1.1. Французский «Аустерлиц»: забытая победа или «смена дискурсивной формации»? . . . . . 112
3.1.2. Бородино и Березина: «толерантная память» . . . . . 130
3.1.3. Трафальгар и Ватерлоо: метаморфозы французской «памяти-поражения» . . . . . 175
3.2. Война с Наполеоном в исторической памяти России: от юбилея к юбилею . . . . . 188
3.2.1. 25-летняя годовщина большой войны 1812–1814 гг. . . . . 189
3.2.2. 50-летний юбилей Отечественной войны и роман Л. Н. Толстого «Война и мир» . . . . . 193

3.2.3. 100-летие войны 1812 года: союз с Францией и «переформатирование памяти» ... 201
3.2.4. Война 1812 года: от 100-летнего к 200-летнему юбилею ... 214
3.3. Британская память о войнах с Наполеоном: гром вчерашних побед ... 224
3.3.1. Британский Трафальгар ... 224
3.3.2. Британское Ватерлоо ... 238
3.4. Германия против Наполеона: Освободительная война в немецкой исторической памяти ... 255
3.4.1. Истоки памяти и «маленькие годовщины» ... 256
3.4.2. 50-летний юбилей Битвы народов: праздник единства в разделенной стране ... 260
3.4.3. Единое государство — общий праздник? 100-летний юбилей в Германской империи ... 267
3.4.4. Праздник в «сердце Европы»: 200-летний юбилей в современной Германии ... 281

*Глава 4. Политика памяти vs память о Первой мировой войне в межвоенный период* ... 291
4.1. Забытая война? Годовщины «империалистической» войны в Советской России / СССР: институты и практики коммеморации ... 291
4.2. «Неюбилейные» годовщины: от Веймарской республики к Третьему рейху ... 323
4.3. «День перемирия» в межвоенной Британии: между имперским патриотизмом и локальной мемориализацией ... 357
4.4. «Неоконченный траур»: политика памяти и коммеморативные практики во Франции межвоенного периода ... 387

*Глава 5. Память о Великой войне в контексте осмысления опыта двух мировых войн и общественных трансформаций второй половины XX — начала XXI в.* ... 414
5.1. Эволюция политики памяти и ритуалов коммеморации в Великобритании: традиции и новации ... 414
5.2. Память о Великой войне во Франции: тернистый путь к единству? ... 432
5.2.1. Память о Первой мировой в период Виши и оккупации ... 432
5.2.2. Память о Великой войне в 1950–1960-х гг.: в «поиске» Первой мировой ... 438
5.2.3. Пятидесятилетие Первой мировой войны: рождение национального мифа? ... 443
5.2.4. Коммеморативные практики в 1970–2000-е гг.: на пути к глобальной памяти ... 458

5.3. Память о Первой мировой войне в Федеративной Республике Германии . . . . . 472
5.4. Советская / российская память: от «нулевой точки революции» к «реперной точке» доминирующего исторического нарратива. . . . . 489

*Заключение* . . . . . 521
*Список сокращений* . . . . . 527
*Именной указатель* . . . . . 528
*Сведения об авторах* . . . . . 532

# Глава 1
# ЮБИЛЕИ НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙН И ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

## 1.1. Юбилеи войн в контексте памяти и политики: теоретико-методологический аспект

Прежде всего, представляется необходимым дать пояснения по поводу ключевого для данного исследования понятия «юбилеи войн». Вероятно, у какой-то части читателей она может вызвать недоумение и даже отторжение. Действительно, само слово «юбилей» имеет выраженные позитивные коннотации достижений, успеха, торжества. К событиям драматичным и даже трагическим, а войны и сражения безусловно входят в их число, чаще применяется менее эмоционально окрашенный термин «годовщина». Однако в ветхозаветной иудеохристианской традиции по установлению Моисея юбилеем был каждый пятидесятый год: «и освятите пятидесятый год и объявите свободу на земле всем жителям ее: да будет это у вас юбилей; и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. Пятидесятый год да будет у вас юбилей: не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных [лоз] ее, ибо это юбилей: священным да будет он для вас; с поля ешьте произведения ее. В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое» (Лев. XXV, 10–13). Так что если следовать этому канону, то у Наполеоновских войн на сегодняшний день насчитывается четыре юбилея, а у Первой мировой войны – два. К этому добавим, что значительная временная дистанция все-таки смягчает травмирующее воздействие воспоминаний об этих событиях на нынешние поколения людей.

Определения термина «юбилей» на разных языках вполне однозначны и прозрачны. Словарь Ожегова: «1. Годовщина чьей-нибудь жизни, деятельности, существования кого-чего-нибудь (обычно о круглой дате). 2. Празднование по этому случаю»[1]; Кембриджский словарь: «день важного события, произошедшего в предшествую-

[1] Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М., 2019.

щие годы»[1]; самый известный немецкий толковый словарь «Дуден»: «праздничная годовщина конкретного события»[2]. В то же время юбилей как социокультурный феномен сравнительно недавно стал предметом научного изучения, и специалисты стали говорить о растущей значимости «такой автономной предметной области как юбилееведение»[3]. Тема юбилея в контексте изучения ритуала и языка праздника звучала в трудах лингвистов, филологов, специалистов по теории и истории культуры – М. М. Бахтина, К. Жигульского, В. Н. Топорова, Й. Хейзинги и др., однако место и роль образов войны в процессе юбилейной коммеморации до сих пор прослежена явно недостаточно.

Заявленная проблема находится в обширном пространстве междисциплинарного взаимодействия комплекса гуманитарных наук. Приоритетное значение для авторов имеют теоретико-методологические основания таких исследовательских направлений как историческая антропология, особенно изучение исторической памяти и ее взаимодействия с социальными процессами, с одной стороны, и сравнительная политология в части, касающейся исторической политики как составной части политической культуры государства и общества – с другой.

В связи с этим особое значение имеет понятие «политическая культура». Данный термин был впервые введен в оборот И. Г. Гердером в конце XVIII в.[4], а в рамках современной политической науки он получил глубокое концептуальное раскрытие в трудах американских политологов Г. Алмонда, С. Вербы и Г. Пауэлла. Их классическое определение гласит: «Политическая культура – это совокупность индивидуальных позиций и ориентаций участников данной политической системы»[5].

Политическая культура образует основание политических действий и придает им значение. Он также является структурой ориентации, в которую включены: знания о политической системе, ее функциях, решениях и действиях; чувства относительно политиче-

---

[1] Cambridge dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/anniversary (дата обращения: 22.04.2020).

[2] Duden. Das Onlinewörterbuch. URL: https://www.duden.de/rechtschreibung/Jubilaeum (дата обращения: 22.04.2020).

[3] Евтушенко А. Г. Юбилей как социокультурный феномен: Автореф. дисс. ... канд. культурологии. М., 2012. С. 3.

[4] См.: Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977.

[5] Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Полис. Политические исследования. 1992. № 4. С. 122.

ской системы и политических деятелей, эмоциональные ориентации. Политика памяти, в свою очередь, ориентирована не на знание, а на выработку специфического эмоционального отношения к событиям прошлого как базовым (позитивным или негативным) ценностям актуальной политической культуры.

Но прежде всего юбилей войны – это событие, в рамках которого осуществляется концентрированная проекция официальных образов и символов прошлого на общественное сознание, происходит сложное взаимодействие установок и механизмов исторической политики, с одной стороны, и исторической памяти на разных ее уровнях – с другой. Совершенно закономерно таким образом центральным концептом данного исследования является сложное и многогранное понятие, которое принято называть исторической памятью, и которое дает возможность вариативного изучения сознательного / бессознательного, в рамках которого функционирует несколько эпистемологических подходов. Подобное замечание можно отнести и к политике памяти. Важнейшее проявление взаимосвязи памяти и власти – легитимация. Политики используют память для обоснования своего права на власть, а также для оправдания своих внутри- и внешнеполитических действий. Обосновывающая тот или иной политический порядок отсылка к прошлому может содержать и требование радикального разрыва с ним, принципиального исключения всякой возможности повторения чего-то подобного. Власть памяти носит структурный характер, она определяет, что именно должно быть помещено в политическую повестку дня, в каких терминах политический опыт должен быть оформлен и т. д. Таким образом, память оказывается ключевым элементом политической культуры.

Термин «память» оказался в центре внимания профессионального сообщества и стал претендовать на ключевую роль в новой парадигме современного социально-гуманитарного знания на рубеже 1980–1990-х гг. Именно тогда начал выходить американский журнал «History & Memory», увидел свет знаменитый многотомный проект «Места памяти» под руководством П. Нора[1]. Однако так называемый «бум памяти» начал зарождаться раньше в рамках методологических экспериментов школы «Анналов». Представители данного направления, французские историки, впервые обратились к проблеме изменчивости представлений о прошлом, сделав объектом своих исследований ментальные стереотипы, исторические мифы, процессы их трансформации и формирования. Так, концепт «исторической

[1] См.: History & Memory. 1989. Vol. 1; Les Lieux de mémoire. Sous la dir. de Pierre Nora. Paris: Gallimard, 1984–1992; Нора П., Озуф М., Пюимеж Ж. де, Винок М. Франция – память. СПб., 1999.

памяти» к событиям прошлого применил в 1970-е гг. представитель третьего поколения школы «Анналов» Ж. Дюби, опубликовав монографию «Бувинское воскресенье», ознаменовавшую рождение новой методологии в историческом познании[1].

Историк соединил событийную историю и память о сражении, уделив особое внимание тому, как современники интерпретировали событие, порождая мифы, ставшие основой национальной памяти. Дюби в своем исследовании очень тонко продемонстрировал, что история события – это иллюзия, а историк исследует только память.

Идея ученого, сформулированная на основе исторических источников, в итоге привела к созданию новой методологии, названной «исторической памятью». Впервые попытался определить основополагающие позиции данного направления П. Нора, создав знаменитую концепцию «Мест памяти», в рамках которой он провел четкую границу между историей и памятью. Вдохновившись исследованием Дюби, Нора заявил, что воспоминания современников, участников события создают память, а последующие поколения конструируют историю о нем. Когда событие утрачивает свое влияние на общество, «внутренне уже им не переживается», оно переформатируется в «место памяти», превращаясь в некий «символический ритуал», зависимый от внешней поддержки со стороны государства. По мнению историка, каждый этап трансформации от «памяти» к «истории», а затем к «месту памяти» сопровождается кризисом национальной идентичности, который вытесняет одно событие и возводит на пьедестал другое.

Концепция П. Нора вызвала оживленную дискуссию во французской науке по поводу соотношения истории и памяти. К слову сказать, Дюби, который невольно запустил подобный процесс, в этом споре участия не принял; он просто продолжал «наслаждаться историей». Не устоял от вмешательства в методологические дискуссии другой представитель школы «Анналов» – Ж. Ле Гофф, отметив, что «историков сегодня все больше интересует связь между историей и памятью»[2]. Вступив в дискуссию с Нора, ученый предположил, что невозможно определить границу между историей и памятью, так как современность влияет на интерпретацию прошлого: «Историк – это субъект времени, в котором он живет. Интерес к прошлому – это иллюзия настоящего»[3]. Ле Гофф отрицал объективность исторического исследования, характеризуя прошлое как «сумрачное, независимое от нас», считая, что память, даже неосознанно, воздействует на исто-

[1] См.: Duby G. Le Dimanche de Bouvines. P., 1973.

[2] Le Goff J. History and memory. New York, 1992. P. 13.

[3] Ibid.

рию. Нора предложил подход к изучению памяти, в котором акт запоминания рассматривается как сложная социальная и культурная конструкция, в которой конкретные места / объекты ассоциируются с конкретными представлениями о прошлом. При этом память о прошлом и профессиональное историческое знание им принципиально различаются. Память в этой концепции выступает как динамическое взаимодействие, существующее между прошлым и настоящим, которое может быть проанализировано путем исследования значений, приписываемых оставшимся следам воспоминаний и местам памяти. Очевидно, что этот подход предполагает приоритетное внимание к изучению политики памяти и задействованных в ней коммеморативных процессов, конструирующих и закрепляющих конкретное значение событий прошлого, востребованное настоящим.

В 1992 г. была опубликована книга Я. Ассмана «Культурная память», в которой он заявил о рождении новой парадигмы наук о культуре. «По всем признакам похоже, – писал он, – что вокруг понятия воспоминания выстраивается новая парадигма наук о культуре, благодаря которой разнообразнейшие феномены и области культуры – искусство и литература, политика и общество, религия и право – предстают в новом контексте»[1]. Культурная память трактуется Ассманом как особая символическая форма фиксации и передачи культурных значений: «Прошлое скорее сворачивается здесь в символические фигуры, к которым прикрепляется воспоминание», – пишет он[2]. Культурная память является формализованной и ритуализованной, выражается в текстах и коммеморативных практиках, мемориальных памятниках разного рода, сохраняется традицией. Культурная память, по мысли Я. Ассмана, принципиально отличается от коммуникативной памяти – живой, мало формализованной, недолговечной, представленной «повседневной» памятью участников и очевидцев событий. Ассман также разработал проект исследовательского направления / дисциплины «история памяти», изучающей то прошлое, которое осталось в памяти человеческой общности, процессы его моделирования и переоткрытия в настоящем в зависимости от актуальной ситуации. Формирование этого направления явилось важным проявлением «антропологического поворота» в современной исторической науке. Это связано с тем, что сама историчность трактуется здесь как «антропологическая универсалия, регулирующая ментальные операции, связанные с ориентацией исторических субъектов

[1] Ассман Я. Культурная память: Письмо и память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004. С. 12.

[2] Там же. С. 54.

разного уровня (индивидов, социальных групп, общества), и опирающаяся на историческую память»[1].

Однако проблематика коллективного сознания и коллективной памяти начала разрабатываться еще на рубеже XIX–XX вв. прежде всего в соответствии с установками социологической школы Э. Дюркгейма. Само понятие коллективной памяти было предложено видным представителем этой школы М. Хальбваксом в классической работе «Социальные рамки памяти»[2]. С тех пор вот уже почти сто лет не перестает звучать критика в адрес представителей этого подхода. Их упрекают в неоправданном преувеличении роли социальных процессов, принижении индивида до послушного орудия в руках сил социальной регуляции и контроля[3]. Однако невозможно отрицать фундаментальное значение дюркгеймовской традиции для memory studies. Ее главные тезисы о взаимосвязи памяти и социальной общности, а также о социальных механизмах организации коллективной памяти по-прежнему актуальны. Подтверждение тому – названия академических бестселлеров, востребованных до сих пор – «Как институты мыслят» М. Дугласа, «Как общества помнят» и «Как современность забывает» П. Коннертона[4].

Обращаясь к базовым теоретическим понятиям, авторы проекта разделяют мнение А. Ассман, которая выделяет индивидуальный, социальный и культурный уровни памяти[5]. Помимо этого, при изучении формирования групповой идентичности мы будем различать негативную (травмирующую) и позитивную (память-слава) память.

Полагаем чрезвычайно важным с точки зрения выявления «памяти историков» признать в качестве гипотезы существование особой (корпоративной) исторической памяти. Однако в этом плане очевидны существенные отличия, как, каким образом, и в какой степени в той или иной стране историки «распоряжаются» национальной памятью (выражение П. Нора).

Придерживаясь деления памяти на коммуникативную и культурную, авторы проекта полагают, что во время существования коммуникативной памяти граница между памятью и историей достаточно размыта. Поэтому, вслед за А. Ассман, мы используем понятие «индивидуальные места памяти», которые заметно отличаются от «кол-

---

[1] Репина Л. П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв. М., 2011. С. 441.

[2] См.: Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М., 2007.

[3] См.: Burger R. Kleine Geschichte der Vergangenheit. Eine pyrrhonische Skizze der historischen Vernunft. Wien, Graz, 2004.

[4] См.: Douglas M. How Institutions Think. Syracuse, N. Y., 1986; Connerton P. How Societies Remember. N. Y., 1989; Idem. How Modernity Forgets. N. Y., 2009.

[5] См.: Ассман А. Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика. М., 2014.

лективных мест памяти». Этот момент чрезвычайно важен при выявлении истоков и источников формирования национальной памяти о войне.

Коллективная память подлежит аналитической фиксации в самых разных форматах и статусах. Эти категории приобретают свойства релевантности при изучении процессов трансформации коллективной памяти в ходе политических перемен. Так, можно выделить артикулированную (наделенную способностью к социальной циркуляции) и репрессированную (вытесненную в область молчания) память; нормативную память и противостоящую ей контрпамять; центральную («горячую») и периферийную («холодную») варианты памяти. Также память может выступать в качестве краткосрочной, связанной с живыми воспоминаниями очевидцев, и долгосрочной, закрепленной при помощи культурных форм и практик; она может быть ритуализированной и неформальной; приватной и публичной; официальной и неофициальной; локальной и глобальной и т. д. Кроме того, под влиянием определенных факторов, таких как политические цели, социальные запросы, групповые интересы, культурные сдвиги и пр. эти формы памяти могут видоизменяться и переходить одна в другую. Важную роль во всех этих трансформациях памяти играют медиа и институты памяти. Ключевым методологическим моментом является принятие того факта, что национальные традиции интерпретации прошлого не следует рассматривать как абсолютно цельные. Скорее, можно говорить о национальных культурных памятях, в рамках которых существовали и существуют параллельные, нередко оппозиционные друг другу течения.

В трактовке термина «политика памяти» мы разделяем подход А. Миллера, который вводит его как понятие «для обозначения всей сферы публичных стратегий в отношении прошлого, т. е. концептуализации, практик коммеморации и преподавания истории», а историческую политику, – как «частный случай политики памяти, для которой характерно активное участие властных структур, конфронтационный характер и преследование партийных интересов»[1].

Принципиальным представляется утверждение, что прошлое не является агентом прямого действия в современном обществе. Мы оперируем представлениями о событиях прошлого, которые создаются, получают признание и бытуют в пределах специфических культурных и политических условий. Личные воспоминания не видимы обществу до тех пор, пока они не преобразованы в слова или образы для того, чтобы вступить в коммуникацию. «Коллективные воспо-

[1] Националистическая платформа или либеральные версии истории? Историографические развилки последних десятилетий в версии Алексея Миллера. URL: http://gefter.ru/archive/author/miller (дата обращения: 22.04.2020).

минания создаются при помощи медиатизированных репрезентаций прошлого, которые предполагают отбор, определенную аранжировку, новые описания событий и упрощения; происходит как намеренное, так и, вероятно, непреднамеренное включение и исключение той или иной информации»[1]. При изучении феномена коллективной памяти и ее инструментализации в форме связанных с войнами юбилеев необходимо учитывать, что для анализа исторической памяти важны не только конкретно-фактологические исследования, но и штампы, бессознательные и неотрефлексированные образы. Кроме того, важно понять не только, кто и что написал по тому или иному поводу, но кого читала «власть» и «публика», в том числе и ветераны войны.

Обращаясь к самому феномену коммемораций необходимо проанализировать специфику отражения событий Наполеоновских войн и Первой мировой войны в различных видах искусства, признавая существование своего рода «искусства коммемораций». В этом плане необходимо обратить внимание на то, что идентичность во многом приобретается через ритуалы участия, своего рода «причащения» к коллективной памяти. При этом и юбилеи следует воспринимать в широком смысле, а именно не только через призму «памяти-славы», но и «памяти-трагедии», выявляя при этом «скорбную» составляющую «знаменательных дат». То же касается и «мест памяти». При этом к списку официально признанных государством «мест памяти» нужно добавить мемориальные места, которые существуют только в народной памяти. Последние далеко не всегда имеют точную локальную привязку, но благодаря коммуникативной повторяемости живут как легенды или исторические сказания.

Дж. Уинтер обосновал важное в концептуальном отношении положение о «демократизации» памяти о войне в XX в., повлиявшей на формы репрезентации военного прошлого. Он отмечает, что в этот период, в отличие от предшествующего, война стала делом каждого. До 1900 г. памятные статуи в основном были посвящены отдельным командирам, после 1900 г., а тем более после 1914-го, обычные люди стали центром памяти. Вот почему сохранение имен на военных мемориалах стало так важно. Позже демократизация снова изменила лицо памяти: солдат больше не стоит в центре повествования о войне и ее жертвах. Женщины, дети, притесняемые меньшинства, этнические группы, гомосексуалисты и т. п. – все приобрели право говорить о своем опыте[2].

---

[1] Memory and Political Change / ed. by A. Assman, L. Short. Basingstoke, 2012. P. 3–4.

[2] Winter J. Remembering War. P. 281.

## 1.2. Политика памяти: к преодолению методологической дихотомии

Историческая память и политика памяти, становление и эволюция мемориальной культуры стали популярными темами, воплощающими «мнемонический поворот» в историографии, наблюдающийся с 1980-х гг. по настоящее время[1]. Важное значение для становления этого направления имела дискуссия вокруг сборника статей «Изобретение традиций» под редакцией Э. Хобсбаума и Т. Рейнджера[2]. Идея его авторов заключалась в том, что политические элиты сравнительно легко манипулируют памятью в своих интересах, навязывая массам нужную им версию прошлого. Этот подход встретил возражения, и в итоге сформировался динамически-коммуникативный подход к коллективной памяти, призывающий учитывать как активность и свободу субъектов, так и устойчивость существующих моделей прошлого, силы сопротивления произвольным манипуляциям.

В исследовании этой проблематики проявилась приверженность авторов к двум основополагающим парадигмам: во-первых, «политической» / национальной, восходящей к трудам Э. Хобсбаума и Б. Андерсена, рассматривающей феномены памяти как тесно связанные с ритуалами и практиками национальной самоидентификации: ключевого элемента символического репертуара, «скрепляющего» нацию-государство и объединяющего граждан благодаря формированию коллективной национальной идентичности[3]. Во-вторых, транснациональной и транскультурной, обоснованной в работах Дж. Уинтера, в рамках которой практики коммеморации рассматриваются в антропологическом ключе, как выражение человеческой скорби и потребности в психологической реабилитации от потерь и пережитых страданий. В данной парадигме мемориальные практики интерпретируются как естественная реакция человека на смерть и страдания,

---

[1] См.: Hynes S. A War Imagined: First World War and English culture. London, 1990; Mosse G. L. Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars. New York, Oxford, 1990; Winter J. Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History. Cambridge, 1996; Commemorating War: The Politics of Memory / ed. by T. G. Ashplant, G. Dawson, M. Roper. New Brunswick, N. Y.; London, 2004; Heathorn S. The Mnemonic Turn in the Cultural Historiography of Britain's Great War // The Historical Journal. 2005. Vol. 48(4). P. 1103–1124; Winter J. Remembering War. The Great War Between Memory and History in the Twentieth Century. New Haven & London, 2006.

[2] См.: The Invention of Tradition / ed. by E. Hobsbawm, T. Ranger. N. Y., 1983.

[3] См.: Anderson B. Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism. London, 1991; The Invention of Tradition.

в огромных масштабах порождаемых войной, выражение универсальной человеческой потребности в публичных ритуалах поминовения[1].

Для разработки путей преодоления указанной дихотомии рассмотрим эвристические возможности и ограничения обоих подходов, выявим элементы, позволяющие реализовать методологический синтез, обозначим перспективы создания комплексной теории и инструментария исследования.

Определяющую роль в формировании национальной идентичности, как подчеркивал один из основоположников «политической» парадигмы Б. Андерсон, играет мемориализация военного прошлого и связанная с ней символическая политика. «У современной культуры национализма нет более захватывающих символов, чем монументы и могилы Неизвестного солдата. Публичное церемониальное благоговение, с каким относятся к этим памятникам именно в силу того, что либо они намеренно оставляются пустыми, либо никто не знает, кто внутри них лежит, поистине не имеет прецедентов в прежней истории», – пишет Б. Андерсон[2].

Андерсон объяснил происхождение нарративов национальной идентичности, определяющих национальный дискурс памяти, связав их со спецификой мнемонических процессов. Он писал, что человек не может достоверно вспоминать свое далекое прошлое, так как все глубинные изменения в сознании, в силу самой своей природы, несут с собой и характерные амнезии. Из таких забвений в особых исторических обстоятельствах рождаются нарративы идентичности: поскольку об идентичности нельзя «помнить», необходимо ее «рассказывать»[3]. Национальная идентичность строится на нарративе, связывающем настоящее с прошлым, «отсылающем» к историческому прошлому. «Поскольку у нации нет Творца, – пишет Б. Андерсон, – ее биография не может быть написана по-евангельски, “от прошлого к настоящему”... Единственная альтернатива – организовать ее “от настоящего к прошлому”»[4].

Другой «отец-основатель» парадигмы, Э. Хобсбаум, обосновал роль «изобретенных традиций» в формировании и закреплении ценностей национального государства. Он отмечал, что изобретенные традиции означают набор практик, в основе которых находятся открыто или молчаливо принятые правила ритуальной и символической природы. Они направлены на привитие определенных ценностей и норм

---

[1] См.: Winter J. Sites of Memory, Sites of Mourning; Idem. Remembering War.

[2] Anderson B. Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism. P. 9.

[3] Ibid. P. 204.

[4] Ibid. P. 205.

поведения, что автоматически подразумевает преемственность с прошлым[1]. При этом правила, ценности и нормы изобретенных традиций подразумевают установление преемственности с «подходящим» историческим прошлым. Новые традиции – это ответы на актуальные ситуации, которые приобретают форму ссылки на древнее, «славное прошлое»[2]. Таким образом, Э. Хобсбаум объясняет роль «изобретенной» традиции тем, что в быстро меняющемся мире модернити государства нуждаются в обосновании стремительных изменений путем их легитимации с помощью традиции.

Дж. Уинтер, лидер второго направления, в свою очередь, подчеркивает универсальный характер мемориальных практик, как выражения потребности «вернуть тела погибших домой, положить их на вечный покой символически и физически», что, по его мнению, предопределило всеобщий характер коммеморации после войны 1914–1918 гг.[3] Уинтер рассматривает военные мемориалы как центры ритуалов, риторики и церемоний утраты, выражавших экзистенциальные аспекты, связанные с индивидуальными переживаниями, объединявшими людей в группы со сходным опытом – «fictive kinship groups». Военные мемориалы были, таким образом, – заключает Уинтер, – связаны не только с художественными формами, политическими, национальными ожиданиями и коллективными репрезентациями, но и со сходным опытом, потребностями и активностью конкретных людей[4]. Подчеркивая важность исследования роли социальных акторов мемориальных процессов, Дж. Уинтер призывает уважать национальные формы памяти, избегая «ослепления ими». Места памяти, отмечает он, создаются не только народами, но в первую очередь небольшими группами мужчин и женщин, которые выполняют работу памяти. Они являются «социальными агентами» памяти, без их работы коллективная память не существовала бы[5].

Уинтер характеризует язык и способы коммеморации, порожденные Великой войной: поэзию и прозу, документальную и художественную, монументальное и изобразительное искусство, подчеркивая их универсальные черты. Характеризуя европейскую мемориальную культуру, он пишет: «Поэзия воскрешала павших на войне в памяти с помощью метафор, общих для всех языков»[6], «два мотива – война как благородное и возвышающее дело и как трагедия, невыносимое

---

[1] См.: The Invention of Tradition. P. 78–79.

[2] Ibid. P. 1–2.

[3] Winter J. Sites of Memory. P. 28.

[4] См.: Winter J. Remembering War. P. 139–143.

[5] Ibid. P. 136.

[6] Winter J. Sites of Memory. P. 73.

горе присутствовали во всех послевоенных мемориалах. Баланс между ними не был зафиксирован, использовались традиционные религиозные символы»[1].

В более поздних работах Дж. Уинтер уделил значительное внимание анализу путей превращения личного опыта комбатантов в элементы культурной памяти, выявлению механизмов этого процесса. Последнее позволяет более глубоко осмыслить соотношение опыта войны и памяти о ней на уровне индивидуальной психики и индивидуального сознания. Уинтер пишет: «Со временем их (солдат, комбатантов. – *Авт.*) военный опыт стал основным материалом, из которого возникли новые политические и социальные идентичности. "Опыт" не изменился; изменилось только его положение. Субъекты не могут охватить опыт внешнего мира; они строят опыт внутри себя, как часть их чувства того, кто они есть»[2]. «Опыт» меняется по мере изменения жизни рассказчика. Поскольку идентичности не зафиксированы, ничто не является «опытом». Это «история» субъекта, выраженная в определенный момент на языке субъекта. Этот язык не универсален; он является специфическим, локализованным и в основном региональным или национальным по форме[3].

По справедливому замечанию Стефана Хиторна, использование Уинтером термина «места памяти» в названии и тексте его работы свидетельствует о признании им концепции Пьера Нора и парадигмы «коллективной памяти»[4].

Разграничение истории и памяти как двух форм «работы с прошлым» характерно и для основоположника концепции коллективной памяти М. Хальбвакса. Основная идея Хальбвакса заключается в том, что память имеет социальную природу, память индивида конструируется концептуальными структурами, разделяемыми сообществом, или групповыми идентичностями[5]. П. Хаттон справедливо замечает, что теория Хальбвакса особенно привлекательна для историков, изучающих политику коммеморации, так как они опираются на его идею о том, что коллективная память постоянно подвергается ревизии, чтобы соответствовать задачам настоящего[6]. Данный методологический подход, как постмодернистский, вызывает возражения П. Хаттона, который ставит под сомнение правомерность исследования памяти как сознательного конструирования прошлого, осуществляемого с помо-

---

[1] Ibid. P. 85.

[2] Winter J. Remembering War. P. 115.

[3] Ibid. P. 116.

[4] Heathorn S. The Mnemonic Turn. P. 1111.

[5] См.: Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М., 2007.

[6] См.: Хаттон П. История как искусство памяти. СПб., 2004. С. 42.

щью целенаправленных техник коммеморации. В противовес этому Хаттон подчеркивает роль традиции в репрезентациях прошлого и его восприятии: «Историки коммеморации стремились заключить в скобки вопрос о том, что может быть аутентичным в традиции или какой силой влияния прошлое обладает само по себе, независимо от наших сознательных попыток его восстановить»[1]. Хаттон не только постулирует объективное существование национальных традиций, но и их влияние на восприятие обществом своего прошлого. Это относится и к традициям историописания, так как история, по Хаттону, – разновидность памяти: «Историки также погружены в традицию и обязаны признать ее власть», так как «воображение, подразумеваемое в скрытых привычках нашего ума, остается важным для занятий историка»[2].

Современные теоретические достижения лингвистов, антропологов и других представителей гуманитарных наук позволяют связать исследование памяти с традициями и интерпретативными практиками этнических и национальных сообществ. Это дает новые междисциплинарные основания изучению политики памяти и публичных коммеморации, не противоречащие подходам национальной парадигмы, и одновременно вовлекает культурно-психологический ракурс рассмотрения этих феноменов. Как отмечает Ю. Ю. Хмелевская, «лингвисты и специалисты в сфере коммуникации пришли к выводу, что вспоминать это значит прочитывать прошлое; такое чтение требует лингвистических (языковых) навыков, характерных для традиций объяснения и рассказа в данной культуре, и представляет прочитанное в нарративе, который своим значением глубоко связан с интерпретативными практиками сообщества»[3]. Результаты изучения антропологами «телесных» практик, воплощающихся в церемониях и ритуалах, позволили углубить понимание природы публичных коммеморации как особой формы коллективного припоминания, которая может быть интерпретирована подобно языку или писаному тексту[4].

Политический / национальный и психологический аспекты рассмотрения темы не могут быть, как очевидно из вышеизложенного, разделены «непроходимой стеной». Это связано и с тем, что политика памяти всегда включает в себя скорбь (ритуалы скорби), а также способы преодоления психологических и физических потерь, связанных с войной. Кроме того, в процессе и того, и другого взаимодействуют их составляющие элементы и акторы: государство, гражданское обще-

---

[1] Хаттон П. История как искусство памяти. С. 13.

[2] Там же. С. 73–74.

[3] Хмелевская Ю. О меморизации истории и историзации памяти / Век памяти, память века: Опыт обращения с прошлым в XX столетии. Челябинск, 2004. С. 12.

[4] Там же.

ство и индивиды, поскольку все они вовлечены в конструирование конкретного смысла и значения смерти на войне. При этом коммеморативная активность гражданского общества находит место в контексте «официальных толкований», влияющих на понимание того, кого и в каких терминах следует вспоминать. Можно согласиться с авторами коллективной монографии «Commemorating War: The Politics of Memory» в том, что и тот, и другой подходы не могут прояснить до конца пути трансформации национальных / социальных нарративов памяти в индивидуальные и их взаимодействия. Чтобы избежать методологической дихотомии, – справедливо утверждают авторы, – надо подвергнуть теоретическому анализу взаимосвязи между официальными (государственными), гражданскими и индивидуальными элементами политики памяти и практик коммеморации[1]. Следует изучать политический и культурный процессы, воплощающие память и наделение смыслом ритуалов; прослеживать эффекты этих процессов и конфликты, их сопровождающие, – все то, что обеспечивает переход от сферы социального к сфере индивидуального и наоборот.

В русле методологического подхода, «соединяющего» политические и культурно-психологические аспекты коммеморации и памяти о войне, правомерно исследовать взаимодействие акторов политики памяти в процессе модификации, поддержания и наделения смыслом ритуалов, посвященных войне. Следует учесть, что в процессе выработки коллективной памяти о войне, закрепленной в государственных ритуалах, данное взаимодействие происходило особенно активно в периоды годовщин военных событий, и, в первую очередь – их юбилеев. В эти годы акторы политики памяти предпринимали усилия по формированию, корректировке, изменению / сохранению ритуалов и заложенных в них посланий, отражавших то или иное толкование смысла человеческих жертв и потерь и в целом, – смысла войны. Эти усилия наглядно демонстрирует, в частности, история межвоенного периода[2].

Таким образом, теоретические достижения социально-гуманитарных наук и результаты «мнемонического поворота» в историографии свидетельствуют о возможностях преодоления методологической дихотомии в исследовании политики памяти. Пути реализации задачи связаны с методологическим синтезом, использованием подходов и инструментария обеих парадигм – национальной и транснациональной, в исследовании символической политики и практик ком-

[1] Commemorating War. P. 11–12.

[2] См.: Hynes S. A War Imagined; Theodosiou C. Le deuil inachevé. La commémoration de l'Armistice du 11 Novembre 1918 en France dans l'entre-deux-guerres. P., 2018.

мемораций. Если первая ориентирует на выявление механизмов превращения социальной памяти в «значимое национальное прошлое», интерпретацию национальных символов и образов исторических событий, то вторая – на анализ универсальных антропологических характеристик коммемораций и роли конкретных акторов данного процесса. Однако именно исследование политики памяти требует, как показано выше, соединения этих двух перспектив, показа того, как происходит «наделение смыслом» и символизация национального прошлого в процессе взаимодействия акторов памяти, реализующих мемориальные проекты и транслирующих мемориальные нарративы.

Ключевым для преодоления методологической дихотомии в изучении темы может стать показ связи между историческим контекстом, общественно-политическими процессами, переосмыслением опыта войны и мемориальными практиками. Последнее отражается в «борьбе за память» государства и общества, имеет следствием изменение ритуальной политики и заложенных в ней «посланий», корректировку коммеморативных практик. Вовлечение в анализ факторов международного характера, внутриполитических процессов, мемориальных инициатив гражданского общества позволяет более глубоко осмыслить преемственность и разрыв в национальных традициях памяти и способах их репрезентации, выявить взаимосвязь национальных, социальных и индивидуальных форм и вариантов памяти о войне.

## 1.3. Военные юбилеи между памятью и забвением, триумфом и травмой

При обращении к проблеме исторической памяти и политики памяти необходимо обратить внимание и на другую дихотомию политики памяти, позволяющую осмыслить ее природу – дихотомию памяти забвения. По словам современного исследователя А. Г. Васильева, «память неотделима от забвения. Каждый акт воспоминания сопровождается частичным забвением и наоборот. Забвение и память одинаково селективны. Перед обществами не стоит выбора: помнить или забывать. Речь идет только о том, какие события травматического прошлого следует сделать предметом дискуссии, а какие временно “сдать в архив”»[1]. Юбилеи в этом контексте являются важнейшими формами и способами, с одной стороны, институционализации памя-

[1] Васильев А. Г. Memory studies: единство парадигмы – многообразие объектов (Обзор англоязычных книг по истории памяти) // Новое литературное обозрение. 2012. № 117. С. 480.

ти, а с другой – вариантом переформатирования и даже уничтожения памяти.

Эпоха постмодерна поставила ряд важных вопросов применительно к проблеме интерпретации прошлого: роль забвения в трансформации памяти, соотношение трагедии и триумфа в национальном и транснациональном мемориальном пространстве. На появление этих вопросов в повестке дня повлияла не только деятельность французских историков, но и осмысление травматического опыта Второй мировой войны. Трагедия как элемент памяти и забвения стала популярной темой в дискурсе коммеморативных практик, затмив образ триумфа и проблему соотношения истории и памяти.

Одну из главных ролей в осмыслении культа трагедии сыграли философ Х. Арендт и историк Р. Козеллек, современники Второй мировой войны. Арендт, будучи еврейкой, была вынуждена эмигрировать из Германии, став «жертвой нацистского режима», а Козеллек воевал на Восточном фронте и пережил советский военный плен. Удивительно, что, несмотря на различия в их судьбах, им оказались присущи схожие размышления о памяти-трагедии. Арендт в своем освещении судебного процесса над сотрудником гестапо А. Эйхманом в Иерусалиме обратила внимание на субъективное использование памяти о Холокосте в политике конструирования национальной идентичности молодого еврейского государства, предрекая опасность инструментализации истории и «банальности зла»[1]. В ответ на критику за подобные идеи со стороны соплеменников, она призвала не к политике «покаяния», а «прощения» как формы «преодоления травмы».

Несколько лет спустя Козеллек во многом разделил взгляды Арендт на процесс виктимизации. После окончания войны он тяжело переживал ту «травму», в причинении которой он принял непосредственное участие. В итоге размышления о «негативной памяти», тесно связанные с его жизненным опытом, стали основой исследований ученого по методологии исторической науки[2].

Ключевым лейтмотивом его теории стал процесс «забывания» событий, которые невозможно оправдать с точки зрения законов справедливости. В итоге, по мнению ученого, главным элементом коллективной памяти становится виктимизация как способ самооправдания и забывания иных аспектов прошлого. Так, Козеллек выражал возмущение моралистической жертв Холокоста, считая, что «траур не делится», и что «всегда нужно помнить о всех жертвах и не забывать

[1] См.: Арендт Х. Банальность зла. М., 2008.

[2] См.: Koselleck R. Kritik und Krise. Eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen Welt. Frankfurt am Main, 1973; derselbe. The Practice of Conceptual History: Timing, History, Spacing Concepts (Cultural Memory in the Present). Stanford, 2002.

об убийцах». Он считал «изобретение ритуалов, церемоний», как способа самооправдания, своего рода попыткой вытеснения события из пространства памяти. Тем самым, по мнению историка, культ жертв, выраженный в «местах памяти», это не что иное, как инструмент государственной политики по самооправданию, который в итоге убивает память. В то же время Козеллек придавал огромное значение процессу коллективного «преодоления травмы» без государственного вмешательства, как формирующего национальную идентичность в большей степени, чем память о победе.

Исследования историка предопределили последующие дискуссии в гуманитарных науках, связанные с проблемами забвения, вспоминания, памятью о трагедии и победе. Важной вехой стало исследование философа П. Рикёра «Память, история, забвение», в котором он во многом подтвердил размышления Козеллека, противопоставив память и забвение[1]. По мнению философа, память – «живая система», а превращение образа прошлого в «ритуалы» приводит к забвению. Рикёр определил переходный этап между забвением и памятью, который он обозначил термином «горизонт», своего рода умиротворенной памяти, моментом, когда стихают дискуссии, проходит «боль», и образ события перевоплощается в «символические ритуалы». Так, то, что П. Нора назвал «местом памяти», Козеллек и Рикёр обозначили как забвение. В отличие от предыдущих теорий, Рикёр представил процесс перехода от памяти к забвению закономерным, а не целенаправленным актом коллективного забывания или кризисом идентичности.

Подверг критики концепцию П. Рикёра антрополог М. Оже, заявив, что забвение – это необходимый этап функционирования памяти[2]. Ученый выделил несколько форм забвения: «возвращение», «пауза», «новое начало». В итоге, после прохождения «событием» этих этапов создается «новый ритуал», который в большей степени связан с настоящим, чем с прошлым. Однако, по мнению Оже, тесная идеологическая связь с современностью позволяет событиям сохранять актуальность, быть памятными для общества.

Именно дискуссия о соотношении памяти и забвения стала важным элементом в дальнейшем развитии мемориальных исследований[3]. Значимый вклад в осмысление забвения как сложного феномена трансформации памяти внесли социолог П. Коннертон и историк А. Ассман. Их внимание притягивает процесс сосуществования образа прошлого в категориях памяти и забвения, в национальном и транс-

---

[1] См.: Рикёр П. Память, история, забвение. М., 2004.

[2] См.: Augé M. Pour une anthropologie des mondes contemporains. P., 1997.

[3] См.: Brockmeier J. Remembering and Forgetting: Narrative as Cultural Memory // Culture & Psychology. 2002. 8(1). P. 15–43.

национальном пространствах. Ученые отвергли дихотомию между памятью и забвением, продемонстрировав динамику этих процессов с их различными институциями и фазами.

Основываясь на предположении, что забывание не является противоположностью вспоминания или празднования, Коннертон выделил семь форм забвения: стирание, предписанное забвение, структурная амнезия, аннулирование, устаревание, оскорбленная тишина[1]. Стирание – самая жестокая форма, свойственная тоталитарным режимам; предписанное забвение отличается от стирания тем, что совершается в интересах всего общества; структурная амнезия – дефицит информации; устаревание – отсутствие необходимости в актуализации прошлого; оскорбленная тишина – вина, стыд. Автор отметил разные факторы, под воздействием которых забвение переходит из одной формы в другую, сделав вывод, что этот процесс не влечет за собой абсолютную потерю памяти. Коннертон считает, что образ прошлого в момент своей трансформации проходит через разные формы забвения, «кристаллизуясь» в церемониях как явлениях «социально-традиционной» памяти[2].

Исследование разных форм забвения продолжила А. Ассман в работе «Забвение истории – одержимость историей»[3]. В отличие от Коннертона, она считает, что функциональная память общества освобождена от забвения и включает гораздо больше форм выражения, чем только церемонии: «Канон является функциональной памятью общества, которая должна осваиваться каждым поколением заново. Канон присваивает определенным артефактам, личностям или историческим событиям особую ценность и ориентирующую значимость для будущего»[4]. Предполагая, что событие переходит из памяти в забвение, она выделяет особый уровень, в котором происходит фильтрация общественных представлений, называя его «архивом».

Учитывая, что забывание лишь временно стирает событие из памяти, Ассман так же, как и Коннертон выделяет несколько форм забвения. Однако по сравнению со своим предшественником, она считает, что процесс забывания может привести к зарождению новой формы памяти об историческом событии.

Дискурсивный поворот в направлении изучения забвения вызвал интерес в науке к проблеме травмы в исторической памяти. Еще Козеллек отметил, что в современную эпоху индивидуальная память стремится придать травму забвению, а коллективная – возводит ее

---

[1] См.: Connerton P. Seven Types of Forgetting // Memory Studies. 2008. P. 59–71.

[2] См.: Бенн С. Одежды Клио. М., 2011.

[3] См.: Ассман А. Забвение истории – одержимость историей. М., 2019.

[4] Там же. С. 33.

на пьедестал. Так, одним из первых обратился к процессу перехода травмы в коллективную транснациональную память историк Д. Уинтер на примере образа Великой войны. Автор неоднократно выражал свою солидарность с процессом конструирования общеевропейской памяти о жертвах как инструментом формирования пацифистского мышления[1].

Культ «травмы» в методологических исследованиях актуализировал образ поражения как процесса «примирения с прошлым» на национальном и общеевропейском уровне в трудах ряда исследователей. Историк Ф. Кардини, обратившись к «культуре поражения», проанализировал «травму» как основной мотив в необходимости установления справедливости, что, в свою очередь, становится инструментом национальной консолидации[2]. Кардини во многом подтвердил, что образ трагедии существует в коллективной памяти намного дольше, чем победа, которая переходит в «символические церемонии», подвергаясь забвению.

После данного исследования понятие «культура поражения» стало общепринятым в исторической науке. Немецкий историк В. Шивельбуш использовал этот термин для названия своей монографии, посвященной теоретическим аспектам исторической памяти о войнах. Будучи солидарным с Кардини, он утверждает, что переживание нацией травмы поражения приводит к «стремлению помнить»[3]. Однако вместе с этим автор отметил, что подобная форма памяти не связана с «установлением справедливости», но с «изобретением новой альтернативной реальности», оправдывающей ожидания нации.

Шивельбуш выразил мысль о том, что этот процесс «изобретения мифа» становится основой переосмысления путей развития государства и оказывает более консолидирующее влияние на нацию, чем память о победах: «Поражение очищает нацию, в то время как победа ослепляет победителя, приводит в действие противодействующие силы и готовит его падение»[4]. Однако, по мнению историка, траектория развития памяти о травме может также создать некую «ловушку» для общества и государства, так как чувство вины постоянно требует компенсации в виде проведения церемоний или развязывания очередной войны.

Дискурс травмы привел к необходимости исследовать процесс памяти и забвения в сознании людей, ставших жертвами войны и терро-

---

[1] См.: Winter J. Sites of Memory, Sites of Mourning.

[2] См.: Cardini F. La Culture de la guerre. P., 1992.

[3] Schivelbusch W. The Culture of Defeat: On National Trauma, Mourning, and Recovery. N. Y., 2013.

[4] Ibid. P. 52.

ра. Социологи, заинтересовавшись данным научным аспектом, на основе эмпирических исследований проанализировали представления участников недавних трагических событий[1]. Ученые пришли к выводу о сложности и индивидуальности процесса забвения травматических событий в сознании жертв. В своем стремлении пережить травму или чувство вины они, как правило, неосознанно создают миф, содержащий элементы «воображаемого». Эти исследования во многом подтвердили более ранние утверждения о том, что воспоминания жертв войны еще более мифологичны, чем труды историков.

Очевидно, что исследования проблем «забвения» сводятся в науке к изучению процесса трансформации «индивидуальной скорби в публичную» и, как правило, противопоставляются триумфу. Попытка объединить две эти парадигмы – «победы» и «поражения» – была сделана британскими историками на примере памяти о Первой и Второй мировых войнах[2].

Историки проанализировали разные формы памяти на конкретном историческом материале, начиная от общественных торжеств, организуемых государствами, личных воспоминаний переживших войну и заканчивая образами, которые транслируются в коллективной памяти. Совершенно справедливо авторы отметили, что процесс виктимизации привел к тому, что «социальные группы, пережившие травму, стали требовать публичного признания за собой статуса жертвы»[3]. В связи с этим, по мнению авторов, церемонии, посвященные войнам, превратились также и в акт «коллективного покаяния».

В свою очередь, историки на примере Великобритании пришли к выводу, что образ победы продолжает существовать в национальной коллективной памяти, а культ траура – является всего лишь иллюзией европейской политики[4]. В связи с этим, обратившись к концепции Уинтера, историки не приняли его отрицания национальной специфики памяти, считая, что образ прошлого – это более сложный процесс, реализующийся между национальной и транснациональной памятью. Так, обратившись к примеру Великобритании, они продемонстрировали вариант «компромиссной памяти», существующей между общеевропейскими и национальными коммеморативными практиками. В свою очередь, вслед за А. Ассман, процесс общеевро-

---

[1] См.: Rogers K., Leydesdorff S., Dawson G. Trauma: Life Stories of Survivors. L., 2004; Dawson G. Making Peace with the Past? Memories, Trauma and the Irish Troubles. L., 2007.

[2] См.: Commemorating War: The Politics of Memory.

[3] Ibid. P. 3.

[4] Ibid. P. 7.